

Формула русской культуры

Формула немудреная — «православие, самодержавие, народность». Принадлежит она министру просвещения при Николае I С. С. Уварову. Нам (довоенным студентам философского факультета), да и тем, кто учился после нас, внушали, что Уваров был ретроградом и мракобесом.

Как третировали эту формулу! Самодержавие? Ха-ха-ха! Николай Палкин! Культура? Варварство царило при нем в России. А как же Пушкин, Лермонтов, Гоголь? Они творили вопреки... Православие? Хи-хи-хи! Материя первична, сознание вторично, в научной картине мира нет места для Бога. (В перерывах между лекциями мы, правда, распевали: «Материя первична, сознание вторично, а если нам прикажут, то все наоборот: сознание первично, материя вторична, а если нам прикажут...» и т. д.) Народность? Какая могла быть народность при царе? Только официальная, ложная. Уваров имел в виду крепостное право.

Но вот мне попала на глаза книга Г. Шпета «Очерк развития русской философии», изданная после революции (и вскоре запрещенная); автор — левых убеждений (но уже репрессированный), симпатий к Уварову не питал, однако, как человек знающий и объективный, давал ему беспристрастную характеристику: Уваров «был просвещенным человеком, одним из самых просвещенных тогда в России», за годы его министерства университеты наши встали на ноги. Иностранцы были уже не нужны, появился ряд своих ученых, преподавание по многим кафедрам стояло на европейской высоте. «О философском национальном сознании до уваровской эпохи говорить не приходится». Тут было над чем задуматься. Но времени для этого не было: началась война, и пришлось мне вместо истории философии штудировать боевой устав пехоты.

Возвращение мое в философию состоялось после войны. Пришел я, собственно, не в науку, а на факультет для получения диплома, который полагался всем, ушедшим на фронт после четвертого курса при условии сдачи государственных экзаменов. Пришел в гимнастерке со знаками ранения и орденами. На экзамене мне попался вопрос «Философия Гегеля». Я бодро сказал, что Гегель был идеалист. И умолк. Даже по тем временам этого было мало. Экзаменатор не стал ко мне приставать. Получив от меня заверение в том, что я никогда больше философией заниматься не буду, он сказал: «Хорошо!» и поставил «отлично».

* * *

Увы, обещания своего я не сдержал и через несколько лет уже редактировал статью моего экзаменатора в «Вопросах философии», куда я поступил работать после армии. О чем была статья, я не помню, но об уваровской «народности» в ней шла речь. Я снова раздобыл книгу Шпета и выписал из нее то место, где говорится о немецком происхождении этого понятия. Уваров был знаком с книгой Фр. Яна «Немецкая народность» (*Deutsches Volkstum*). Там сказано: «То, что собирает отдельные черты,

накапливает, усиливает их, связывает воедино, создает из них целый мир, эту объединяющую силу в человеческом обществе нельзя назвать иначе, как народностью». Правитель должен стремиться к тому, чтобы единая человеческая культура возникла в государстве как своеобразная народная культура. Последняя не создается по приказу или принуждению. Культура народа в настоящем есть всегда культура народа в прошлом. Когда при обсуждении статьи я изложил эти соображения, на меня зашипели: Шпет не авторитет, а враг народа, чтоб я и имя его позабыл и никогда на него не ссылался. Имя я его, правда, не забыл, но на него не ссылался, пока «Вопросы философии» (разумеется, в новом редакционном составе) не переиздали однотомник Шпета, по которому я его цитирую.

Тема, однако, продолжала интересовать меня. Особенно когда я стал заниматься эстетикой. Я понимал, что проблема народности искусства не сводится к проблеме его доступности (чтобы искусство было «понятым», этого требовал Гитлер; но эту мысль приписали у нас Ленину — так легко было спутать «вождей»). А тем более не к тому, чтобы художественными средствами воспроизводить простонародную жизнь; квас и кислая капуста — основные категории такого искусства, над чем смеялся уже Белинский.

Что такое народ? Ап. Григорьев полагал, что народ — это собирательное лицо, слагающееся из черт всех слоев общества, высших и низших, образованных и необразованных, богатых и бедных, слагающееся не механически, а органически; литература бывает народна, когда она выражает взгляд на жизнь, свойственный всему народу, определившийся с большей полнотой в передовых слоях.

Народность русской классической литературы состоит в том, что она раскрывает сокровенную жизнь национальной души. Воплощением такой народности был и остается Пушкин. Недаром сам поэт называл себя «эхо русского народа». Гоголь говорил, что Пушкин есть, «может быть, единственное явление русского духа». Белинский любил повторять эти слова. С них начал свою знаменитую пушкинскую речь Достоевский, который обрисовал духовный облик русского народа, отметив как наиболее его характерную черту «всемирную отзывчивость», то есть способность к пониманию любой другой культуры, стремление к объединению человечества.

Вот почему нет оснований опасаться русского шовинизма: его как массового явления нет и быть не может. Когда мы говорим «мы», «наши», это не призыв к вражде, это не значит «бей других», это призыв к внутренней солидарности. Сегодня мы на краю пропасти и только общими усилиями можем от нее отползти. Отсутствие национального самосознания — причина наших бед, спасение — в национальном возрождении. Иван Ильин пишет по этому поводу: народ с колеблющимся инстинктом национального сохранения не может отстаивать свою жизнь на земле; народ должен чувствовать свое единство, сопринадлежность, самобытность. «Национальное чувство есть духовный огонь, ведущий человека к служению и жертвам, а народ к духовному расцвету. Это есть некий восторг (любимое выражение Суворова)

от созерцания своего народа в плане Божьем и в дарах его Благодати... в национальном чувстве скрыт источник достоинства, которое Карамзин обозначил когда-то как "народную гордость"; в нем также — и источник единения, которое спасало Россию во все трудные часы ее истории; и источник государственного правосознания, связующего "всех нас" в живое государственное единство».

Национальный вопрос сегодня находится в центре многих социальных коллизий. В нашей стране отношения между народами осложнены некомпетентным административным, порой преступным вмешательством в их жизнь. Говорили о «дружбе народов», а воспитывали вражду. Где, когда целые нации подвергались гонениям и депортации, сгонялись с насиженных мест и отправлялись, как преступники, на поселение? Для иных Россия превратилась в «тюрьму народов», из которой надо бежать сломя голову. Понять сепаратистские настроения можно и нужно. Национальный вопрос запутан у нас до предела.

Начать с того, что мы живем во власти формальных, догматических представлений о природе наций. Мы все еще толкуем о сталинских «четырех признаках» — общность экономики, территории, языка и «психического склада». Пример евреев и цыган, однако, показал, что можно сознавать себя нацией, не имея ни своей территории, ни общей экономики. Вопрос о национальной территории оказался особенно порочным в последние годы. «Это наша земля», — говорят армяне в Нагорном Карабахе и требуют присоединения его к своей республике. «Нет, наша», — отвечают азербайджанцы, и начинается междоусобица, конца которой не видно. «Уходите с нашей земли, мигранты и оккупанты», — говорят эстонцы русским, забывая, что за землю эту заплачено и русской кровью, что в эту землю вложен и русский труд, что рядом их соплеменники финны спокойно уживаются со шведами, шведский язык обязателен, как и финский, хотя шведов в Финляндии всего пятая часть населения.

Вопрос о единстве языка крайне важен для жизни нации, и все же не он определяет ее бытие: швейцарская нация говорит на трех языках; евреи, отправляющиеся на вновь обретенную родину, заново учат иврит. Русские эмигранты во втором и третьем поколении порой едва говорят на родном языке, но считают себя русскими и тоскуют по родной земле.

«Психический склад» — это уже нечто более серьезное. Разумеется, речь идет не о каких-то отдельных чертах характера, принадлежащих только данному народу, этого нет, есть некая целостность «народной души», которая входит в более широкое понятие национальной культуры. Единство культуры, понимаемой как система ценностей, — вот главный признак нации. Здесь много иррационального, совершенно необъяснимого, но это реальность, с которой приходится считаться: образ жизни, традиции, привычки, взаимоотношение и взаимодоверие, то, чем мы больше всего дорожим, без чего мы чувствуем себя несчастными. Нация являет собой органическое единство, частью которого чувствует себя человек от рождения и до смерти, вне которого он теряется, становится незащищенным. Нация —

это общность судьбы и надежды, если говорить метафорически. Прав Бердяев: «Все попытки рационального определения национальности ведут к неудачам. Природа национальности неопределима ни по каким рационально-уловимым признакам. Ни раса, ни территория, ни язык, ни религия не являются признаками, определяющими национальность, хотя все они играют ту или иную роль в ее определении. Национальность — сложное историческое образование, она формируется в результате сложного смешения рас и племен, многих перераспределений земель, с которыми она связывает свою судьбу в ходе духовно-культурного процесса, созидającego ее неповторимый духовный лик. И в результате всех исторических и психологических исследований остается неразложимый и неуловимый остаток, в котором и заключается вся тайна национальной индивидуальности. Национальность — таинственна, мистична, иррациональна, как и всякое индивидуальное бытие».

Разрушение традиционных устоев (веками сложившейся системы ценностей) губительно для нации. Коммунистический режим, хозяйничавший в нашей стране, только этим и занимался. Целью было «слияние наций», а точнее — превращение народов в легко манипулируемое быдло. Современные этнические конфликты — прямое следствие такой политики.

Нация — это общность святынь. О религии я буду подробнее говорить ниже, а пока отмечу: в былые времена «русский» и «православный» были синонимами. Если ты крещен, все права тебе и полное доверие, никто не станет спрашивать о папе и маме, дедушке и бабушке, вычислять, сколько процентов в тебе «чистой» крови — пятьдесят или двадцать пять. Этот расистский бред — порождение наших дней, казарменно-социалистических порядков.

Барклай-де-Толли — русский патриот, честно воевал с Наполеоном. Тотлебен — герой обороны Севастополя. У меня друг — русак русаком, но в паспорте стоит «швейцарец» и отчество Фридрихович — на фронт не пустили. Пантелеймон Михайлович Хаджинов, коммунист со времен революции, комиссар стрелкового полка, был удален с передовой потому, что значился греком (из тех, что издавна жили в Крыму).

Нации не собираются сливаться, но не нужно устанавливать дополнительные перегородки между ними. Национальность — вопрос не происхождения, а поведения, не «крови», а культуры, того культурного стереотипа, который стал родным. Это то, что немцы называют *Wahlheimat*. Каждый волен сам выбирать себе национальность, нельзя в нее затаскивать, нельзя из нее выталкивать. Можно жить среди русских и не принимая их «веру». (Тогда только не надо претендовать на лидерство, нельзя рассматривать народ как средство, как материал для манипуляции, это вызывает протест и эксцессы.) Полное приятие культуры народа, слияние с ней, готовность разделить судьбу народа делают любого «иноверца» русским, как, впрочем, и немцем и т. д.

Разумеется, национальную принадлежность не выбирают, как галстук. Это происходит порой бессознательно, просто чувствуют неразрывную связь с людьми, со средой, в которой вырос, со святынями. «Мы сознаем себя членами нации, — пишет С. Булгаков, — потому что реально принадлежим к ней, как к живому духовному организму. Эта наша принадлежность совершенно не зависит от нашего сознания; она существует до него и помимо него и даже вопреки ему. Она не только есть порождение нашего сознания или нашей воли, скорее, наоборот, само это сознание национальности и воля к ней суть порождения ее в том смысле, что вообще сознательная и волевая жизнь уже предполагает некоторое бытийственное ядро личности как питательную и органическую среду, в которой они возникают и развиваются, конечно, получая затем способность воздействовать и на самую личность».

Главное в проблеме нации — самосознание. Народ (этническая категория) становится нацией, только осознав свою индивидуальность, живое место в общечеловеческой семье. Если пульс национального сознания падает, народ болен; повышенный пульс тоже болезнь; как и всюду, нужна мера. Дав отпор Наполеону, русские показали себя нацией, классическая литература появилась на гребне национального подъема. Уваров, говоря о «народности», имел в виду национальное самосознание.

Современная трагедия русского народа — утрата национального самосознания. Большевики добились своего: в стране возобладал групповой интерес, взаимная неприязнь классов и этнических групп, исчезло чувство взаимной общности. Последний раз оно проявилось в Отечественной войне против нацистской Германии. Гитлеровцев мы победили под национальными лозунгами; но вскоре нас стали уверять, что победа классовая.

Сегодня недавние теоретики классовой борьбы видят всюду национальные отличия, даже там, где их нет, отрывают одну часть народа от другой. Н. Лосский, осуждая украинских сепаратистов, писал в свое время: «Чувствуется как нравственно предосудительное — предпочтение ими провинциальных обособленных ценностей совместному творчеству всех трех ветвей русского народа, создавшего великую державу с мировой культурой. Сама замена многозначительного имени Малороссия именем Украина (то есть окраина) производит впечатление утраты какой-то великой ценности: слово Малороссия означает первоначально основная Россия в отличие от приросших к ней впоследствии провинций, составляющих большую Россию».

Большая Россия — это Великороссия, Малороссия, Белоруссия. Есть еще Червонная Русь, о которой в энциклопедическом словаре сказано, что это всего лишь «историческое название Галиции в зарубежных источниках XVI—XIX веков». Но за Карпатами живут люди, которые и сегодня продолжают считать себя русскими: дело, видимо, не в источниках, а в истоках. Кстати, зарубежный источник XX века — энциклопедический словарь Брокгауза 1927 года сообщает, что русские состоят из великороссов, малороссов, белорусов и русин — обитателей Галиции и Прикарпатья.

Русины — такого слова нет ни в одном нашем справочнике, разве что в этимологическом словаре русского языка, составленном немцем Фасмером. Итак, русские в узком значении слова — это великороссы, в широком — совокупная Русь.

О неразрывном коренном единстве русских народов свидетельствует история казачества. Запорожцев Карамзин называл «малороссийские казаки». Пополнялась Сечь и выходцами из Московии. Но вот Екатерина II перевела сечь на Кубань, то есть в Новороссию, которая являлась частью Великороссии. Остались ли казаки украинцами? Мои предки — кубанские казаки считали себя великороссами. Русь изначально возникла как многонациональное государство, как братство народов не только славянских, не только христианских. Раздвигались границы (иногда с помощью оружия), но никто из присоединенных народов не был ущемлен в правах. Сохранялась традиционная культура, уважались верования, и каждому предоставлялась возможность преуспеть в любой области.

Татарские военачальники занимали крупные посты в русской армии, грузин Багратион — великий русский полководец; во главе русской церкви стоял мордвин Никита Ми-нов (патриарх Никон); армянин Лорис-Меликов занимал высший государственный пост империи, а немецкая принцесса Софья фон Цербст стала русской царицей Екатериной Алексеевной.

* * *

Один мой знакомый, когда его спрашивают, верит ли он в Бога, вопрос отводит: вера — дело интимное, как любовь; нельзя ведь спрашивать, влюблен ты или нет. Мой знакомый прав и не прав. Любовь любви рознь — одну скрывают, другая сама просится напоказ. Когда создают семью, любовь не прячут. Любовь к детям, любовь к отечеству должна проявиться в делах. Так и вера может быть сугубо личной, а может принимать публичный характер. Церковь — объединение верующих. Нательный крест, хотя и носят под одеждой, но не скрывают. «Миром Господу помолимся», — провозглашает священник. Это формула православной соборности. Каждый возносит личную молитву, но следует общему ритуалу и ощущает себя членом общины.

Мой путь к православию тернист и извилист. Отец, казачий офицер, затем инженер, бравировал своим неверием. Мать потеряла веру в юности, когда умер ее первый ребенок. Меня не водили в церковь, не учили молитвам. В школе тридцатых годов, а затем на философском факультете (куда я пробрался окольными путями из-за репрессированного отца) учили атеизму и классовой морали: нравственно то, что служит делу партии, сегодня одно, а завтра другое — в зависимости от обстоятельств.

Война, казалось, опровергала библейские заповеди. Сказано: «не убий»; а тут — «убей немца!», «сколько раз ты увидел его, столько раз его и убей!» В Восточной Пруссии под Кенигсбергом мы стояли в городке, покинутом жителями. Остался только пастор. Женатый на еврейке, он полагал, что «советы» ему не страшны. Я ходил к нему в гости, чтобы

упражняться в немецком языке, а он учил меня Закону Божьему. Я возражал, как мог, но возражения мои были неубедительны. Ссылался на войну. «Воевать тоже можно по-разному», — говорил он.

Потом был Кант с его категорическим императивом. Над Гегелем, который свел мораль к параграфам философии права, я уже мог иронизировать.

Очень почитал я двух ученых мужей — Николая Иосифовича Конрада и Алексея Федоровича Лосева. Им я обязан окончательным просветлением мозгов. Оба были глубоко верующие люди. Когда скончался Николай Иосифович, у вдовы собрались ученики покойного. Один спросил меня: «Вы верующий?» — «Нет». — «Странно, Николай Иосифович говорил, что вы верующий. Все равно приходите на отпевание, гроб нести некому, у вас хоть вид православного». Отпевание потрясло меня. Не столько красотой обряда, сколько каким-то приобщением к вечности и к чему-то родному, что я не мог себе объяснить.

Я рассказал об этом Лосеву. Могучий старец, потерявший зрение в сталинских лагерях, сказал мне: «Не знаю, какой у тебя вид, думаю, что нормальный, а душа у тебя христианская. Ты, хоть и говоришь, что в Бога не веруешь, но ты христианин; раз русский, значит христианин. Почитай для начала Розанова, хотя бы то, что он пишет о Хомякове».

Книги Розанова были у нас в то время большой редкостью. Мне удалось все же кое-что найти. Прочитал я статью о Хомякове. Розанов пишет в ней о христианской любви как о главной черте русской культуры. Русские — христиане. Вот, в сущности, главное открытие Хомякова, лишь повторенное затем Достоевским. И в другом месте у Розанова: «Церковь есть не только корень русской культуры... она есть и вершина русской культуры. Об этом догадался Хомяков». Я рассказал Алексею Федоровичу о прочитанном. Он одобрительно кивнул и наставительно молвил: «Раз ты считаешь себя русским, ты православный, и нечего дурака валять; православие ты усвоил с молоком матери, оно дано тебе от рождения, от воспитания, от окружения. А философией ты зря что ли занимался? Религия — вера в абсолют. Философия — знание об абсолютном. Ведь ты в церкви катарсис наверняка испытываешь».

Катарсис — очищение. Вот что я почувствовал, когда отпевали Николая Иосифовича Конрада. Слово было найдено. Очищение от житейской скверны, мелочей и гадостей жизни, причащение, причастность к культуре родного народа. Понимание через переживание и переживание через понимание. Понимание того, что ты частица великого народного целого, радость от сознания этого.

«Ты ведь не одного только Канта читаешь, — говорил Лосев, — Кант — рационалист, просветитель, лютеранин. Вот мы с тобой Соловьева готовим к изданию, это православный мыслитель. Кант для немцев, а нам нужен Соловьев».

В 1989 году отмечалось 400-летие Московской патриархии. Мне предложили выступить с докладом на конференции, посвященной юбилею.

Вместо конференции я угодил в больницу, но послал тезисы, которые размножил Издательский отдел патриархии, а парижский «Вестник русского православного движения» опубликовал «Религию в современной жизни. Позиция неверующего». Со смешанным чувством вины и беды писал я о том, что вижу в религии единственное надежное средство воспитания морали. Это было вполне по Канту, соответствовало его «Религии в пределах только разума». Человек по природе зол. Его нужно воспитать к добру, для этого нужна «этическая община», каковой является церковь.

Не следует смешивать, как я писал выше, нравственность и мораль. Для воспитания морали необходимо представление об идеале, с которым человек обязан соотносить свое поведение. Образы христианской религии, ее категорическая заповедь любви к ближнему — наиболее общедоступное и действенное средство морального воспитания, которое необходимо сегодня прежде всего.

По Лосеву был изложен второй аспект современного значения религии — национальный. Без православия нет русской культуры. Православная церковь — единственный социальный институт, оставшийся неизменным на протяжении веков. Православие принесло нам письменность и государственность. Мощная киевская держава — прямой результат принятия Русью христианства; освобождение от татарского ига и возвышение Москвы, собравшей вокруг себя русские земли, связано с именем Сергия Радонежского. Пересвет и Ослябя — герои Куликова поля, свято-витязи, монахи и одновременно воины, сражавшиеся в рясах поверх доспехов. Не только русская воинская доблесть, не только повседневный труд и быт, но и русское просвещение носило религиозные черты. Ломоносов, Державин, Болотов — глубоко религиозные люди. Русскую классику XIX века понять вне православной религии невозможно. Откуда патриотический пафос «Истории государства Российского»? Откуда нравственный подвиг Татьяны Лариной? Куда устремлены помыслы Гоголя? Как понять героев Достоевского и Толстого? Философские идеи Владимира Соловьева? А русский религиозно-философский ренессанс, выступивший достойным продолжателем художественной классики и выдвинувший русскую философскую мысль на мировой уровень? Что питало его? Где искать побудительные причины всего того, что составляет духовную гордость земли русской? Повторяю: русская культура и православие в основе своей неразсторжимы, тождественны.

Озабоченный тем, что пережил мой народ в недавнем прошлом, и тем, что ждет его в будущем, я думаю о судьбах его веры. Сегодня мы осознали глубину нашего падения и помыслы о национальном возрождении связываем с деятельностью церкви.

Важно отметить, что это не единичное, личное мнение, а общественное движение. В культуре — возрождение интереса к отечественной традиции. Есть у нас свои национальные ценности, которые приносят катарсис русскому человеку. Таков был третий аспект моих тезисов, тесно связанный

с первым и вторым, — ценностный. Нация — общность святынь, религия — их создатель и хранитель.

Кому-то мои тезисы понравились. Кто-то упрекал меня в умозрительном отношении к религии. А откуда взять другое человеку, изуродованному советской школой (средней и высшей)? Таких, как я, миллионы. Дай Бог, чтобы у них возникло почтительно-благоговейное отношение к церкви. Глядишь, через два-три поколения дело изменится. Моя дочь искренне верит в Бога и водит детей своих в воскресную школу. Я вспоминаю, как в Москву приезжал мюнхенский профессор философии Райнхард Лаут, чтобы выступить перед столичной интеллигенцией и раскрыть ей значение православия. Запад, говорил он, ждет от России духовности, той, что дал Достоевский и его последователи. Достоевский — вершина мировой культуры. На вопрос, почему он не переходит в православие, Лаут ответил, что в этом нет необходимости: он и так прекрасно чувствует себя в православном храме. В последнем я мог убедиться воочию: Лаут истово молился в Тропаревском храме Святого Михаила Архангела, ничем не отличаясь от местных прихожан.

Сейчас лежит передо мной книга «Русская душа», выпущенная в Вене. Ее автор Катарина Бета, принявшая православие, популярно растолковывает смысл этой религии. По ее данным, общее количество православных колеблется от 90 до 170 миллионов человек (точных сведений нет).

«В восточном благочестии доминирует не идея справедливости, а идея любви». Православие отвергает индивидуальное спасение в пределах человеческой истории, спасение — космическое событие, в которое вовлечена Вселенная. «Антропология, космология и вера в спасение находятся здесь в неразрывном единстве... в конце времен при всеобщем спасении вместе с людьми превратится старая земля в "новую землю" и старое небо в "новое небо". Творческое преобразование творения охватывает не только человека, но и весь универсум».